

Максим Горький

Товарищи



Максим Горький

Товарищи

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170430

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 1949

Аннотация

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1897, номер 5, 6 января; номер 7, 8 января, под заглавием «Старые товарищи (Эпизод)».

Рассказ написан в 1895 году. Дата написания «1897», под которой рассказ печатался в собраниях сочинений, изданных товариществом «Знание», исправлена М.Горьким на «1895» при подготовке издания сочинений в 1923 году.

Включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Содержание

I	4
II	15

I

Горячее солнце июля ослепительно блестело над Смолкиной, обливая её старые избы щедрым потоком ярких лучей. Особенно много солнца было на крыше старостиной избы, недавно перекрытой заново гладко выстроганным тёсом, жёлтым и пахучим. Воскресенье, и почти все люди вышли на улицу, густо поросшую травой, усеянную кочками засохшей грязи. Перед Старостиной избой собралась большая группа мужиков и баб: иные сидели на завалине избы, иные прямо на земле, другие стояли; среди них гонялись друг за другом ребяташки, то и дело получая от взрослых сердитые окрики и щелчки.

Центром толпы служил высокий человек с большими, опущенными вниз усами. По его коричневому лицу, покрытому густой сивой щетиной и сетью глубоких морщин, по седым клочьям волос, выбившимся из-под грязной соломенной шляпы, – этому человеку можно было дать лет пятьдесят. Он смотрел в землю, и ноздри его большого хрящеватого носа вздрагивали, а когда он поднимал голову, бросая взгляд на окна старостиной избы, видны были его глаза, большие, печальные, – они глубоко ввалились в орбиты, а густые брови кидали от себя тень на тёмные зрачки. Одет он был в коричневый, рваный подрясник монастырского послушника, едва закрывавший ему колени и подпоясанный верёвкой. За

спиной у него котомка, в правой руке длинная палка с железным наконечником, левую он держал за пазухой. Окружавшие осматривали его подозрительно, насмешливо, с презрением и, наконец, с явной радостью, что им удалось поймать волка раньше, чем он успел нанести вред их стаду.

Он проходил через деревню и, подойдя к окну старосты, попросил напиться. Староста дал ему квасу и заговорил с ним. Но прохожий отвечал, против обыкновению странников, очень неохотно. Староста спросил у него документ, документа не оказалось. И прохожего задержали, решив отправить в волость. Староста выбрал в конвоиры ему сотского и теперь, в избе у себя, напутствовал его, оставив арестанта среди толпы, – она грубо потешалась над ним.

Но вот на крыльце избы явился подслеповатый старик с лисьим лицом и седой, клинообразной бородкой. Он степенно опускал ноги в сапогах со ступени на ступень, и круглый его животик солидно колыхался под длинной ситцевой рубахой. А из-за его плеча высовывалось бородатое четырёхугольное лицо сотского.

– Понял, Ефимушка? – спросил староста у сотского.

– Чего тут не понять? Всё понял. Обязан, значит, я проводить этого человека к становому и – больше никаких! – Проговорив свою речь отдельно и с комической важностью, сотский подмигнул публике.

– А бумага?

– А бумага, – она за пазухой у меня живёт.

– Ну, то-то! – вразумительно сказал староста и добавил, крепко почесав себе бок:

– С богом, значит, айда!

– Пошли! Шагаем, что ли, отче? – улыбнулся сотский арестанту.

– Вы бы хоть подводу дали, – глухо ответил тот на предложение сотского. Староста ухмыльнулся.

– Подво-оду? Ишь ты! Вашего брата, проходимца, много тут шныряет по полям, по деревням... лошадей про всех не хватит. Прошагаешь и пехтурой.

– Ничего, отец, идём! – ободряюще заговорил сотский. – Ты думаешь, далече нам? Дай бог, два десятка вёрст! Мы с тобой, отче, живо докатим. А там ты и отдохнёшь...

– В холодной, – пояснил староста.

– Это ничего, – торопливо заявил сотский, – человеку, который ежели устал, и в тюрьме отдых. А потом – холодная-то – она прохладная, – после жаркого дня в ней куда хорошо!

Арестант сурово оглянул своего конвоира – тот улыбался весело и открыто.

– Ну-ка, айда, отец честной! Прощай, Василь Гаврилыч! Пошли!

– С господом, Ефимушка!.. Смотри в оба.

– А зри – в три! – подкинул сотскому какой-то молодой парень из толпы.

– Н-ну! Малый я ребёнок, али что?

И они пошли, держась близко к избам, чтобы идти по по-

лосе тени. Человек в рясе шёл впереди, развинченной, но спорой походкой привычного к ходьбе. Сотский, со здоровой палкой в руке, сзади него.

Ефимушка был мужичок низенького роста, коренастый, с широким добрым лицом в раме русой, свалывшейся в ключья бороды, начинавшейся от его серых ясных глаз. Он всегда почти улыбался чему-то, показывая жёлтые зубы и так наморщивая переносье, точно он хотел чихнуть. Одет он был в азам, заткнув его полы за пояс, чтоб они не путались в ногах, на голове у него торчал тёмно-зелёный картуз без козырька, напоминая арестантскую фуражку.

Шли они по узкой просёлочной дороге; она вьюном вилась в волнистом море ржи, и тени путников ползли по золоту колосьев.

На горизонте синела грива леса, влево, бесконечно далеко вглубь, расстилались засеянные поля; среди них лежало тёмное пятно деревни, за ней опять поля, тонувшие в голубоватой мгле.

Справа, из-за купы вётел, вонзился в синее небо обитый жестью и ещё не выкрашенный шпиль колокольни – он так ярко блестел на солнце, что на него было больно смотреть.

В небе звенели жаворонки, во ржи улыбались васильки, и было жарко – почти душно. Из-под ног путников взлетала пыль.

Ефимушка, отхаркнувшись, затянул фальцетом: Ге-эх-да-и с чего-й-то-о-о...

– Не хватаит голосу-то, дуй его горой! Н-да... а бывало, пел я... Вишенский учитель скажет: «Ну-ка, Ефимушка, заводи!» И зальёмся мы с ним! Правильный парень был он...

– Кто он? – глухим басом спросил человек в рясе.

– А вишенский учитель...

– Вишенский – фамилия?

– Вишенки – это, брат, село. А то учитель Павл Михалыч.

Первый сорт – человек был.

Помер в третьем году...

– Молодой?

– Тридцати годов не было...

– С чего помер?

– С огорчения, надо полагать.

Собеседник Ефимушки искоса взглянул на него и усмехнулся...

– Дело, видишь ты, милый человек, такое вышло – учил он, учил годов семь кряду, и начал кашлять. Кашлял, кашлял да и затосковал... Ну, а с тоски, известно, начал пить водку. Отец Алексей не любил его, и как запил он, отец-от Алексей в город бумагу и спосылал – так, мол, и так – пьёт учитель-то, это – соблазн. А из города в ответ тоже бумагу прислали и учительшу.

Длинная такая, костлявая, нос большущий. Ну, Павл Михалыч видит – дело швах. Огорчился, дескать, учил я, учил... ах вы, черти! Отправился из училища прямо в больницу да через пять дён и отдал душу богу... Только и всего...

Некоторое время шли молча. Лес всё приближался к путникам с каждым шагом, вырастая на их глазах и из синего становясь зелёным.

– Лесом пойдём? – спросил Ефимушкин спутник.

– Краешек захватим, с полверсты этак. А что? А? Ишь ты! Гусь ты, отец честной, погляжу я на тебя!

И Ефимушка засмеялся, качая головой...

– Ты чего? – спросил арестант.

– Да так, ничего. Ах ты! Лесом, говорит, пойдём? Прост ты, милый человек, другой бы не спросил, который поумнее ежели. Тот бы прямо пришёл в лес да и того...

– Чего?

– Ничего! Я, брат, тебя насквозь вижу. Эх ты, душа ты моя, тонка дудочка! Нет, ты эту думу – насчёт лесу – брось! Али ты со мной сладишь? Да я троих таких уберу, а на тебя на одну левую руку выйду... *) Понял?

*) «Выйти на одну руку» – значит драться с противником одной рукой, в то время как другая плотно привязана кушаком к туловищу бойца. Противник же действует обеими руками.

– Понял! Дурак ты! – кратко и выразительно сказал арестант.

– Что? Угадал я тебя? – торжествовал Ефимушка.

– Чучело! Чего ты угадал? – криво усмехнулся арестант.

– Насчёт лесу... Понимаю я! Дескать, я – это ты-то, – как придём в лес, тяпну там его – меня-то, значит, – тяпну да и

зальюсь по полям да по лесам? Так ли?

– Глупый ты, – пожал плечами угаданный человек. – Ну, куда я пойду?

– Уж куда хочешь, – это твоё дело...

– Да куда? – Ефимушкин спутник не то сердился, не то очень уж желал услышать от своего конвоира указание, куда именно он мог бы идти.

– Я те говорю, куда хочешь! – спокойно заявил Ефимушка.

– Некуда мне, брат, бежать, некуда! – тихо сказал его спутник.

– Н-ну! – недоверчиво произнёс конвоир и даже махнул рукой. – Бежать всегда есть куда.

Земля-то, она велика. Одному человеку на ней всегда место будет.

– Да тебе что? Хочется, что ли, чтоб я убежал? – любопытствовал арестант, усмехаясь.

– Ишь ты! Больно ты хорош! Разве это порядок? Ты убежишь, а вместо тебя кого в острог сажать будут? Меня посадят. Нет, я так это, для разговору...

– Блаженный ты... а впрочем, кажется, хороший мужик, – сказал, вздохнув, Ефимушкин спутник. Ефимушка не замедлил согласиться с ним.

– Это точно, называют меня блаженным некоторые люди... И что хороший я мужик – это тоже верно. Простой я, главная причина. Иные люди говорят всё с подходцем да с

хитрецей, а мне – чего? Я человек один на свете. Хитровать будешь – умрёшь, и правдой жить будешь – умрёшь. Так я всё напрямки больше.

– Это хорошо! – равнодушно заметил спутник Ефимушки.

– А как же? Для чё я стану кривить душой, коли я один, весь тут? Я, браток, свободный человек. Как желаю, так и живу, по своему закону прохожу жизнь... Н-да... А тебя как звать-то?

– Как? Ну... Иван Иванов...

– Так! Из духовных, что ли?

– Н-нет...

– Ну? А я думал – из духовных...

– Это по одежде, что ли?

– Вот, вот! Совсем ты вроде как бы беглый монах, а то расстриженный поп... А вот лицо у тебя неподходящее, с лица ты вроде как бы солдат... Бог тебя знает, что ты за человек? – И Ефимушка окинул странника любопытным взглядом. Тот вздохнул, поправил шляпу на голове, вытер потный лоб и спросил сотского:

– Табак куришь?

– Ах ты, сделай милость! Конечно, курю!

Он вытащил из-за пазухи засаленный кисет и, наклонив голову, но не останавливаясь, стал набивать табак в глиняную трубку.

– На-ко, закуривай! – Арестант остановился и, наклонясь

к зажжённой конвоиром спичке, втянул в себя щёки. Синий дымок поплыл в воздухе.

– Так из каких ты будешь-то? Мещанин, что ли?

– Дворянин, – кратко сказал арестант и сплюнул в сторону на колосья хлеба, уже подёрнутые золотым блеском.

– Э-э! Ловко! Как же это ты без пачпорта гуляешь?

– А так и гуляю.

– Ну-ну! Дела! Не свычна, чай, этакая волчья жизнь для твоего дворянства? Э-эх ты, горюн!

– Ну ладно, будет болтать-то, – сухо сказал горюн.

Но Ефимушка с возрастающим любопытством и участием оглядывал беспаспортного человека и, задумчиво качая головой, продолжал:

– А-ай! Как судьба с человеком-то играет, ежели подумать! Ведь оно, пожалуй, и верно, что ты из дворян, потому осанка у тебя великолепная. Давно ты живёшь в таком образе?

Человек с великолепной осанкой сумрачно взглянул на Ефимушку и отмахнулся от него рукой, как от назойливой осы.

– Брось, говорю! Что ты пристал, как баба?

– А ты не сердись! – успокоительно проговорил Ефимушка. – Я по чистому сердцу говорю... сердце у меня доброе очень...

– Ну, и – твоё счастье... А вот, что язык у тебя без умолку мелет, – это моё несчастье.

– Ну, ин ладно! Я коли и помолчу... можно и помолчать, ежели человек не хочет слушать твоего разговору. А сердишься ты всё-таки без причины... Али моя вина, что тебе на бродяжьем положении пришлось жить?

Арестант остановился и так сжал зубы, что его скулы выдались двумя острыми углами, а седая щетина на них встала ершом. Он смерил Ефимушку с ног до головы загоревшимися злобой, прищуренными глазами.

Но раньше, чем Ефимушка заметил эту мимику, он снова начал мерять землю широкими шагами.

На лицо болтливого сотского лёг отпечаток рассеянной задумчивости. Он посматривал вверх, откуда лились трели жаворонков, и подсвистывал им сквозь зубы, помахивая палкой в такт своих шагов.

Подходили к опушке леса. Он стоял неподвижной и тёмной стеной – ни звука не несло из него навстречу путникам. Солнце уже садилось, его косые лучи окрасили вершины деревьев в пурпур и золото. От деревьев веяло пахучей сыростью; сумрак и сосредоточенное молчание, наполнявшие лес, рождали жуткое чувство.

Когда лес стоит пред глазами тёмен и неподвижен, когда весь он погружён в таинственную тишину и каждое дерево точно чутко прислушивается к чему-то, – тогда кажется, что весь лес полон чем-то живым и лишь временно притаившимся. И ждёшь, что в следующий момент вдруг выйдет из него нечто громадное и непонятное человеческому уму, выйдет

и заговорит могучим голосом о великих тайнах творчества природы...

II

Подойдя к опушке леса, Ефимушка и его спутник решили отдохнуть и уселись на траву около широкого дубового пня. Арестант медленно стащил с плеч котомку и равнодушно спросил сотского:

– Хлеба хочешь?

– Дашь, так пожую, – ответил Ефимушка, улыбаясь.

Они молча стали жевать хлеб. Ефимушка ел медленно и всё вздыхал, поглядывая куда-то в поле, влево от себя, а его спутник, весь углубясь в процесс насыщения, ел скоро и звучно чавкал, измеряя глазами краюху хлеба. Поле темнело, хлеб'а, потеряв свой золотистый блеск, стали розовато-жёлтыми; с юго-запада плыли лохматые тучки, от них на поле падали тени и ползли по колосьям к лесу. И от деревьев тоже ложились на землю тени, а от теней веяло на душу грустью.

– Слава тебе, господи! – возгласил Ефимушка, собрав с полы азяма крошки хлеба и слизав их с ладони языком. – Господь напитал – никто не видал, а кто и видел, так не обидел! Друг!

Посидим здесь часок? Успеем в холодную-то?

Друг кивнул головой.

– Ну, вот!.. Место больно хорошее, памятное мне место... Вон там, влево, господ Тучковых усадьба была...

– Где? – быстро спросил арестант, оборачиваясь туда, куда Ефимушка махнул рукой...

– А эвона – за тем мыском. Тут всё вокруг ихнее. Богатейшие господа были, но после воли свихнулись... Я тоже ихний был, – мы все тут бывшие ихние. Большая семья была... Полковник сам-то – Александр Никитыч Тучков. Дети были: четверо сыновей – куда все теперь подевались?

Словно ветром разнесло людей, как листья по осени. Один только Иван Александрович цел, – вот я тебя к нему и веду, он у нас становым-то... Старый.

Арестант засмеялся. Смеялся он глухо, каким-то особенным внутренним смехом, – грудь и живот у него колыхались, но лицо оставалось неподвижным, только сквозь оскаленные зубы вырывались глухие, точно лающие звуки.

Ефимушка боязливо поёжился и, подвинув свою палку поближе к руке, спросил у него:

– Чего это ты? Находит на тебя, что ли?..

– Ничего... это так! – сказал арестант отрывисто, но ласково. – Рассказывай, знай...

– Н-да... Так вот, значит, какие дела, – были это господа Тучковы, и нету их... Которые померли, а которые пропали, так ни слуху, ни духу о них и нету. Особливо один тут был... самый меньшей. Виктором звали... Витей. Товарищи мы с ним были... В ту пору было нам с ним лет по четырнадцати... Экий мальчик был, помяни, господи, добром его душеньку! Ручей чистый!

Так вот весь день и стремится, так это и журчит... Где-то он теперь? Жив или уж нет?

– Чем больно хорош был? – тихо спросил Ефимушку его спутник.

– Всем! – воскликнул Ефимушка. – Красотой, разумом, добрым сердцем... Ах ты, странный человек, душа ты моя, спела ягода! Посмотрел бы ты тогда на нас двоих... ай, ай, ай! В какие игры мы играли, какая развесёлая жизнь была, – люли малина! Бывало, крикнет: «Ефимка! Идём на охоту!» Ружьё у него было, – отец подарил в именины, – и мне, бывало, стащит ружьё. И закатимся мы это в леса, да – дня на два, на три! Придём домой – ему проборка, мне порка; глядишь, на другой день снова: «Ефимка, – по грибы!» Птицы мы с ним погубили – тысячи! Грибов этих собирали – пуды! Бабочек, жуков он ловил, бывало, и в коробки их, на булавки насаживал... Занятно! Грамоте меня учил... «Ефимка, говорит, я тебя учить буду». – «Валяйте!»

Ну и начал... «Говори, говорит, – а!» Я ору: «а-а!» Сме- хи! Сначала-то мне в шутку это дело было – на што она, грамота-то, крестьянину?.. Ну, он меня увещевает: «На то, говорит, тебе, дураку, и воля дана, чтобы ты учился... Будешь, говорит, грамоте знать, – узнаешь, как жить надо и где правду искать...» Известно, малое дитя – переимчиво, наслушался, видно, у старших этаких речей, и сам начал то же говорить... Пустое, конечно, всё... В сердце она, грамота-то, сердце и насчёт правды укажет... Оно – глазастое...

Так вот, учит он меня... так присосался к этому делу, – дохнуть мне не даёт! Маета! Я – молить! «Витя, говорю, мне грамота невмоготу, не могу я её одолеть...» Так он на меня ка-ак рявкнет! «Папиной нагайкой заporю – учись!» Ах ты, сделай милость! Учусь... Раз сбежал с урока, прямо вскочил да и драла! Так он меня с ружьём искал весь день – застрелить хотел. После говорит мне: «Кабы, говорит, встретил я тебя в тот день – застрелил бы», говорит! Вот какой был резкий! Непреклонный, – настоящий барин...

Любил он меня; пламенная душа... Раз мне тятка спину вожжами расписал, а как он, Витя-то, увидел это, пришедши к нам в избу, – батюшки мои, – что вышло! Побледнел весь, затрясся, сжал кулаки и к тятеньке на полати лезет. «Это, говорит, ты как смел?» Тятка говорит – я-де отец!

«Ага! Ну хорошо, отец, один я с тобой не слажу, а спина у тебя будет такая же, как у Ефимки».

Заплакал после этих слов и убёг... И что ж ты скажешь, отче? Исполнил ведь своё слово.

Дворню, видно, подговорил, что ли, только однажды тятенька пришёл домой, крихтит; стал было рубашку снимать, ан она присохла к спине-то у него... Рассердился на меня отец в ту пору:

«Из-за тебя, говорит, терплю, барский ты прихвостень». И здоровенную задал мне теребачку...

Ну, а насчёт барского прихвостня это он напрасно, – я таким не был...

– Верно, Ефим, не был! – утвердительно сказал арестант и весь вздрогнул. – Это видно и сейчас, не мог ты быть барским прихвостнем, – как-то торопливо добавил он.

– То-то и оно! – воскликнул Ефимушка. – Просто я любил его, Витю-то... Такой это талантливый ребёнок был, все его любили – не один я... Бывало, речи он говорит разные... не помню я их, тридцать годов, поди, прошло с той поры... Ах, господи! Где-то он теперь? Чай, коли жив, высокое место занимает или... в самом омуте кипит... Жизнь людская растаковская!

Кипит она, кипит, а всё ничего путного не сварится... А люди пропадают... жалко людей, до смерти жалко! – Ефимушка, тяжело вздохнув, поник головой на грудь... С минутой длилось молчание.

– А меня тебе жалко? – весело спросил арестант, и всё лицо у него было освещено хорошей, доброй улыбкой...

– Да ведь, чудак-человек! – воскликнул Ефимушка, – как же тебя не жалеть? Что ты такое, ежели подумать? Коли ты бродишь, так, видно, нет у тебя ничего своего на земле-то, ни угла, ни щепочки... А может, ещё и велик грех ты носишь с собой, – кто тебя знает? Горюн ты – одно слово...

– Так, – сказал арестант.

И они снова замолчали. Солнце уже село, и тени стали гуще. В воздухе пахло влажной землёй, цветами и лесной плесенью... Долго сидели молча.

– А как тут ни хорошо – всё-таки надо идти... Нам ещё

вёрст восемь осталось... Айда-ка, отче, подымайся!

– Посидим ещё немного, – попросил отче.

– Да я ничего, я сам люблю ночью около леса быть... Только когда ж мы придём в волость-то? Заругают меня – поздно-де.

– Ничего, не заругают...

– Разве ты словечко замолвишь, – усмехнулся сотский.

– Могу.

– Ой ли?

– А что?

– Шутник ты! Он те, становой-то, задаст перцу!

– Дерётся разве?

– Лют! И ловок – ахнет кулаком в ухо, а выходит всё равно как бы косою по ногам.

– Ну, мы ему сдачи дадим, – уверенно сказал арестант, дружески потрепав своего конвоира по плечу.

Это было фамильярно и не понравилось Ефимушке. Как-никак, а он всё-таки начальство, и этот гусь не должен забывать, что у Ефимушки за пазухой есть медная бляха! Ефимушка встал на ноги, взял в руки свою палку, вывесил бляху на самую середину груди и строго сказал:

– Вставай, идём!

– Не пойду! – сказал арестант.

Ефимушка смутился и, вытаращив глаза, с полминуты молчал, не понимая, – с чего это арестант вдруг стал такой?

– Ну, не валандайся, идём! – мягче сказал он.

– Не пойду! – решительно повторил арестант.

– То есть как не пойдёшь? – закричал Ефимушка в изумлении и гневе.

– Так. Хочу здесь ночевать с тобой... Ну-ка, разжигай костёр...

– Я те дам ночевать! Я те такой костёр на спине у тебя разожгу – любо-дорого! – грозил Ефимушка. Но в глубине души он был изумлён. Говорит человек – не пойду, – а сопротивления никакого не оказывает, в драку не лезет, лежит себе на земле и больше ничего. Как тут быть?

– Не ори, Ефим, – спокойно посоветовал арестант.

Ефимушка снова замолчал и, переминаясь с ноги на ногу над своим арестантом, смотрел на него большими глазами. И тот на него смотрел, смотрел и улыбался. Ефимушка тяжело соображал, – как же теперь нужно поступать?

И с чего этот бродяга, такой угрюмый и злой, вдруг разбаловался? А что, если навалиться на него, скрутить ему руки, дать раза два по шее да и всё? И самым строго начальническим тоном, какой только был в его распоряжении, Ефимушка сказал:

– Ну, ты, огарок, вот что, – покочевряжился, и будет! Вставай! А то я тебя свяжу, так тогда пойдёшь, небойсь! Понял? Ну? Смотри – бить буду!

– Меня-то? – усмехнулся арестант.

– А ты что думаешь?

– Витю-то Тучкова ты, Ефим, бить будешь?

– Ах ты, – пострелит те горой, – изумлённо воскликнул Ефимушка, – да что ты в самом деле? Что ты мне представленья-то представляешь? Накося!

– Ну, будет кричать, Ефимушка, пора тебе узнать меня, – спокойно улыбаясь, сказал арестант и встал на ноги, – здравствуй, что ли!

Ефимушка попятился назад от протянутой к нему руки и во все глаза смотрел в лицо своего арестанта, потом губы у него затряслись и всё лицо сморщилось...

– Виктор Александрович... и впрямь, что ли, вы это? – шёпотом спросил он.

– Хочешь – документы покажу? А то, – всего лучше, – старину напомним... Ну-ка – помнишь, как ты в Раменском бору в волчью яму попал? А как я за гнездом полез на дерево и повис на сучке вниз головой? А как мы у старухи-молочницы Петровны сливки крали? И сказки она нам говорила?

Ефимушка грузно сел на землю и растерянно засмеялся.

– Поверил? – спросил его арестант и тоже сел рядом с ним, заглядывая ему в лицо и положив на плечо его свою руку. Ефимушка молчал. Вокруг них стало совсем темно. В лесу родился смутный шум и шёпот. Далеко, где-то в чаще, застонала ночная птица.

– Что же, Ефим, – не рад встрече? Или рад? Эх ты... святая душа! Как был ты ребёнком, так и остался... Ефим? Да говори, что ли, чудовище милое!

Ефимушка начал усиленно сморкаться в полу азяма...

– Ну, брат! Ай, ай, ай! – укоризненно закачал головой арестант. – Что это ты? Стыдись!

Чай, тебе на шестой десяток годы идут, а ты этаким пустяковым делом занимаешься? Брось! – И он, обняв сотского за плечи, легонько потряс его. Сотский засмеялся дрожащим смехом и, наконец, заговорил, не глядя на своего соседа:

– Да разве я что?.. Рад я... Так это вы и есть? Как мне в это поверить? Такое дело!

Витя... и в этаким образе! В холодную... Пачпорту нет... Хлебом питаетесь... Табаку нет...

Господи! Это разве порядок? Ежели бы это я был... а вы бы хоть сотский... и то легче! А теперь что же вышло? Как мне смотреть в глаза вам? Я всегда про вас с радостью помнил...

Витя, – думаешь, бывало... Так даже сердце защекочет. А теперь – на-ко! Господи... ведь это – ежели людям рассказать – не поверят.

Он бормотал, упорно глядя на свои ноги, и всё хватался рукой то за грудь, то за горло.

– А ты людям про всё это и не говори, не надо. И перестань... Насчёт меня не беспокойся... Бумаги у меня есть, я не показал их старосте, чтобы не узнали меня тут... В холодную меня брат Иван не посадит, а, напротив, поможет мне на ноги встать... Останусь я у него, и будем мы с тобой снова на охоту ходить... Видишь, как хорошо всё устраивается?

Витя говорил это ласково, тем тоном, которым взрослые

утешают огорчённых детей.

Навстречу туче из-за леса всходила луна, и края тучи, посребрённые её лучами, приняли мягкие опаловые оттенки. В хлебах кричали перепела, где-то трещал коростель... Мгла ночи становилась всё гуще.

– Это действительно... – тихо начал Ефимушка, – Иван Александрович родному брату порадует, и вы, значит, снова приспособитесь к жизни. Это всё так... И на охоту пойдём...

Только всё не то... Я думал, вы каких делов в жизни наделаете! А оно – вон что...

Витя Тучков засмеялся.

– Я, брат Ефимушка, наделал делов достаточно... Имение, свою часть, прожил, на службе не ужился, был актёром, потом сам держал актёров... потом прогорел дотла, всем задолжал, впутался в одну историю... эх! Всего было... И – всё прошло!

Арестант махнул рукой и добродушно засмеялся.

– Я, брат Ефимушка, теперь уж не барин... вылечился от этого. Теперь мы с тобой так заживём! да ну! очнись!

– Я ведь ничего... – заговорил Ефимушка подавленным голосом, – стыдно мне только.

Говорил я вам тут разное такое... несуразные слова и вообще... Мужик, известное дело... Так, говорите, заночуем тут? Я ин костёр разложу...

– Ну-ка, действуй!..

Арестант вытянулся на земле кверху грудью, а сотский ис-

чез в опушке леса, откуда тотчас же раздался треск сучьев и шорох. Скоро Ефимушка появился с охапкой хвороста, а через минуту по маленькому холмику из мелких сучьев уже весело ползала змейка огня.

Старые товарищи задумчиво смотрели на неё, сидя друг против друга и поочерёдно куря трубку.

– Совсем как тогда, – грустно говорил Ефимушка.

– Только времена не те, – сказал Тучков.

– Н-да, жизнь-то стала круче характером... Эвона как вас... обломала...

– Ну, это ещё неизвестно – она меня или я её... – усмехнулся Тучков.

Замолчали...

Сзади их возвышалась тёмная стена тихо шептавшего о чём-то леса, весело трещал костёр, вокруг него бесшумно плясали тени, и над полем лежала непроглядная тьма.